

СЛОВО ТЕМ, КТО РАБОТАЛ

1941—1945

А.В. Хомич

СТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКАДНОГО ДНЕВНИКА

22 июня 1941 г. Кончилось мирное время! Это кажется страшным сном! Мы находимся в состоянии войны с Германией...

Сейчас 5 часов дня — уже тринадцать часов идут бои. Сегодня утром над Ленинградом летали самолеты — это показалось странным, но все же — как можно было подумать! Речь В.М. Молотова прямо ошеломила. Немцы бомбили Киев, Севастополь, Житомир, Каунас... Свыше 200 убитых и раненых... Позавчера мы сдали последний экзамен за второй курс, смотрели фильм-концерт с участием Лемешева, Михайлова, вчера говорили о поездке в колхоз на работу, а сегодня!

4 июля. С первого июля учусь на курсах медсестер, которые организованы на базе университета. До этого разносили повестки военкомата. Их ждали с нетерпением, хотя были и слезы. Через два месяца нас выпустят средним начсоставом. Часть будет работать в Ленинграде, часть — в 70 километрах от фронта. Вспомнила, как мы, студентки первого курса, ходили дежурить в госпиталь в финскую войну. Тогда у нас не было особой подготовки, и мы делали все, что было нужно, — от мытья полов до помощи при перевязках. А сейчас мы сможем оказать большую пользу.

Немцы продвигаются. Как больно за наши города, села... Зато вся страна встает на защиту: на фронт уходят пожилые профессора, старые производственники. Хочется надеяться, что эта война будет последней, что все народы поднимутся и сметут с лица земли фашистов!

В этом году какая-то особенно яркая зелень. Повсюду цветет сирень. А все окна заклеены полосками бумаги, памятники обложены



*Людмила Васильевна Хомич,
научный сотрудник Отдела
Сибири, кандидат исторических
наук. В годы блокады работала
воспитателем детского дома.*

мешками с песком, сады изрыты траншеями. Город как будто нахмурил брови...

7 июля. Завтра кончается лекарствоведение — предмет, который нам всем показался очень интересным. Впереди еще много интересного и трудного.

22 июля. Сегодня месяц войны. Немцы заняли большой кусок территории по линии Псков—Невель—Смоленск—Новгород—Волыньск. Вчера бомбили Москву! В Ленинграде пока еще спокойно. Жить тяжело: невозможно допустить, что будет занята Москва! 17-го я вернулась из-под Луги, где мы рыли противотанковые рвы. Нас не бомбили, хотя ходят слухи о бомбежках на оборонных работах. Не знаю, как будем догонять тех, кто остался заниматься на курсах.

9 августа. Как война все изменила, исковеркала! Сколько семей разбито! То, что раньше казалось обычным и будничным, кажется теперь волшебным сном — театр, музыка, спокойные занятия в университете... Я снова с группой студентов была на строительстве оборонительных сооружений в районе Пудости. Мы вставали в пять часов утра, по густой росе шли к месту работ. Работали, пока не раздавался крик: «Воздух!». Тогда все бежали к леску, ложились там. Кто-то на всякий случай прикрывал голову лопатой... Я приехала в Ленинград на два дня в связи с болезнью мамы и отъездом отца в Астрахань. Как все тяжело.

20 августа. 18-го я вернулась совсем из Пудости. В один из дней над местом наших работ приземлился подбитый самолет. Мы сначала не знали — чей, но оказалось — наш. Полоса дыма шла за ним. Пока мы думали — бежать к нему или нет, — из кабины с трудом вылез летчик... Самолет на следующий день увезли. А мы уехали последним эшелоном. Утром нас подняли и приказали быстро идти к станции, где мы узнали, что последний поезд ушел. Кто-то пошел пешком к Ленинграду. Но, к счастью, подошел еще товарный поезд. Нас набило в вагон, как сельдей в бочке. Было страшно: слышались звуки орудий или бомбежки. Но мы доехали. Гатчина была уже взята, как говорили. Дома меня ждали неприятности: папа уехал, а мама заболела дизентерией в тяжелой форме. От Ники (брат Л.В. Хомич. — *Ред.*) писем уже не было месяц. Хожу по врачам и аптекам. Вести все тревожнее — взяты Кингисепп и Новгород! Из Ленинграда — массовая эвакуация. Мы даже пожалели, что не решились уехать с папой (хотя бы мама уехала!), так как Нике мы все равно помочь не можем... Маме дают бактериофаг, но пока ей не лучше. Возможно, ее придется положить в больницу. О, хоть бы какие-нибудь радостные вести с фронтов — увы...

22 августа. Сегодня маму взяли в больницу. Может быть, не следовало этого делать, но мама думает, что так лучше, хотя ей и страшно оставлять меня одну. От папы и Ники писем нет. Если они живы (...), то каково им читать: «Ленинградцы, вся страна с вами!».

5 сентября. 1-го мама вышла из больницы — похудела, ослабла. Но мы снова вдвоем. Пришло письмо от Ники (от 24 августа). В университете сейчас занятия: занимаются первый и третий курсы (в том числе мы), второй и четвертый — на оборонных работах. Потом будет смена. Иногда кажется — ну, какие теперь занятия, зачем они? Но, видимо, так нужно. И мы занимаемся, ухватившись за учебу как за кусочек прошлой жизни. Ходит Г.Н. Прокофьев, который совсем болен. Г.Д. Вербов еще в июле ушел в ополчение. Кроме занятий мы дежурируем через день целые сутки у ворот главного здания университета. Тогда мы ночуем в пустых помещениях первого этажа, где установлены койки.

12 сентября. С 8-го числа с наступлением ночи немцы каждый день бомбардируют Ленинград (увы, сочетания слов «бомбардировка Ленинграда», «налет на Ленинград» звучат уже не дико для нашего уха!). 8-го я шла к дому по улице Герцена, в вышине летели самолеты. И вдруг вокруг них появились белые дымки, и завывали сирены... С тех пор в Ленинграде, по слухам, есть разрушенные дома. Я пока не видела ни одного, и для меня Ленинград остается прежним бесконечно красивым городом, а все эти налеты — чем-то нереальным. Впрочем, они вполне реальны: днем тревоги бывают каждые 15—20 минут, пока добираться с Васильевского острова домой, не меньше двух раз приходится спускаться в убежища... Паек хлеба уменьшен до 200 грамм для иждивенцев. Из продуктов достать почти ничего нельзя. Но только бы был цел Ленинград! Увы, во время бомбежек пострадали продовольственные склады, это очень ухудшило положение.

Сегодня опять иду дежурить. Признаюсь, прошлый раз было страшно стоять у ворот во время бомбардировки — в Неву попала бомба, и столб воды поднялся, казалось, к небу. Тяжело и оставлять маму: не знаешь, что застанешь, вернувшись...

18 сентября. Сегодня получили телеграмму от Ники — он в Ленинграде. Мама пошла по указанному им адресу, а я осталась дома ждать, так как он написал, что, может быть, зайдет домой. Телеграмма отправлена 16-го.

5 часов вечера. Мама пришла, не повидавшись с Никой, — его часть куда-то уже ушла...

Сегодня опять обстреливали город из дальнобойных орудий, особенно наш район. Это еще страшней, чем бомбежки, которые пока

прекратились. Во время налетов объявляется тревога, спускаешься в бомбоубежище, а обстрелы начинаются внезапно, не знаешь откуда стреляют...

21 сентября. До 19-го числа я все жила в старом Ленинграде — я не видела ни одного разрушения и боялась увидеть. А в ночь с 19-го на 20-е сбросили две фугасные бомбы на Дом учителя и рядом у нас в садике. Всю ночь почти мы тушили пожар, так как вместе с фугасными были сброшены зажигательные бомбы. Жители нашего дома (набережная р. Мойки, д.92, соседний с Домом учителя) вышли с ведрами и встали цепочкой от Мойки через двор и по лестнице. Так передавали воду. Пожар удалось потушить.

24 сентября. Кое-где на улицах строят баррикады. Что же это такое? 22-го наши войска оставили Киев. Что там творится сейчас... Не может быть, что нас ждет такая же участь! Погиб друг Ники Андрей Марченко во время эвакуации из Таллина. Что об этом написать?

Уже наступила осень, и листья пожелтели. Когда-то, в той далекой жизни, мы любили осенью ездить на Кировские острова. Деревья были такие же, как сейчас, — желто-красно-зеленые, всевозможных оттенков, бесконечно красивые... А сейчас — зачем эта красота?..

30 сентября. На днях домой с фронта приходил (!) Ника. Это было бы величайшей радостью, если бы... неизвестно, сколько еще продлится война, уцелеем ли мы... Но как бы то ни было, счастливый момент был, а их так мало сейчас... В армии уверены, что Ленинграда не отдадут.

2 октября. Все, как заклинание, повторяют: «Как хорошо мы жили». Только теперь мы по-настоящему оценили нашу довоенную жизнь с ее мирными заботами и радостями. Сейчас даже странно, что учеба в университете идет своим чередом, хотя по сокращенной программе (многие преподаватели в армии, в ополчении). Странно, что работает кино. Я сегодня еще раз посмотрела «Парень из тайги» и подумала о том, что в этом году мы с Григорием Давыдовичем Вербовым должны были впервые поехать на практику на Север. Где-то сейчас он?

Как давит несмолкаемый гул орудий. Видела первое серьезное разрушение — дом на улице Гоголя развалился, как карточный домик!

10 октября. «Мороз и солнце»... Когда-то мы бы радовались такому дню, а теперь... В ясную погоду город сверху виден как на ладони. И еще: вот уже несколько дней, как по радио передают концерты, которые, естественно, транслируются на улицы. Увы, музыка сейчас как-то по-другому волнует, чем раньше, скорее тревожит.

15 октября. Вчера выпал первый снег. Он и сегодня лежит белым

покровом на земле. Ненадолго заходил Ника, и мы, как в доброе старое время, сидели у натопленной плиты в тишине и уюте. Да, снег сыграл свою роль: этот, быть может, последний счастливый вечер не нарушила тревога...

А сегодня радио принесло очередную горькую весть: сдан Мариуполь, появилось Калининское направление. А вчера сдали Вязьму, позавчера — Брянск, третьего дня — Орел. Что говорить сейчас о хлебе, когда речь идет о судьбе Родины... Что же такое случилось? Где революции в западных странах, которых мы ожидали в начале войны? Почему не разваливается немецкая армия, неужели жажда захвата так сильна? И почему мы оказались так слабы? Почему?

19 октября. В Ленинграде до странности спокойно. Мы вот даже сегодня идем на «Машеньку» Афиногенова, и это не кажется чем-то невероятным. Но общее положение очень плохое — прорыв на западном фронте, Москва в опасности, Одесса сдана. Одесса... Я когда-то была в этом прекрасном городе, была и в театре — во втором в мире по красоте, как нам тогда сказали. Была на знаменитой лестнице, ходила по Дерибасовской улице. Теперь по ней ходят немцы. Когда же будет перелом? Ведь не может же так продолжаться...

Занятия в университете понемножку идут, но заниматься все труднее.

26 октября. Вчера у Симы был день рождения. Сначала у нее дома пили чай с конфетами для аппетита (!!!), как-то сохранившимися у ее отца, долгое время работавшего в аптеке. А потом она «угостила» нас походом в театр на «Сирано де Бержерак». Как это было чудесно, хотя в самом театре неуютно, холодно. Уже в темноте я шла домой, а из репродукторов доносились мелодии Бизе и Верди...

30 октября. Вчера наш район подвергся ужасному обстрелу. Было очень страшно на нашем четвертом этаже. Мы даже подумали, не переехать ли нам в нашем же доме куда-то пониже, хотя это ничего не будет гарантировать. И все же...

1 ноября. Я дежурю то у ворот, то возле университетского бомбоубежища. Вчера я дежурила у ворот, а был опять сильный обстрел. Снаряды ложились в воду против университета и в Александровском саду... Дом наш еще цел.

На днях умерла Надежда Петровна Дыренкова! Она простудилась, гася пожар, и умерла в сущности от простуды! Вот кому бы жить и жить: замечательно талантливый ученый, чрезвычайно милый человек! Я говорила с ней еще так недавно... Невозможно представить, что ее уже нет.

3 ноября. Мы с мамой все же переехали в комнату на первом этаже, взяв минимум необходимых вещей. Здесь легче поддерживать тепло и как-то спокойнее все же. Увы, все время хочется есть.

14 ноября. Прошла годовщина Октября. В Москве был устроен парад — это блестяще! Вечером 7-го выступал Сталин. Он коснулся причин наших трудностей — отсутствие вооружений в достаточном количестве и отсутствие второго фронта. Его речь была полна уверенности в нашей конечной победе.

Со вчерашнего дня непрерывные тревоги — наши части пошли в наступление (так говорят, и мы уверены). Вчера я дежурила у здания университета: все тряслось от разрывов бомб. Ленинград в плотном кольце, и прорвать это кольцо чрезвычайно трудно. Немцы хотят взять город измором: с 11 числа мы получаем по 150 грамм хлеба. Это крошечный кусочек. В дополнение к нему мы имеем тарелку жидкого супа, и это все. Все очень похудели. Неужели еще будут жертвы от голода?

Я вдруг стала усиленно заниматься: конспектирую нужную главу из «Анти-Дюринга», начала читать «Первобытную культуру» Тэйлора, что-то читаю по-немецки... Но все это плохо отвлекает от главного — от общего положения и от постоянного чувства голода.

18 ноября. Все то же. На днях пришло письмо от Г.Д. Вербова. Он уже больше четырех месяцев на фронте. Спрашивает, как наши дела? Призывает не терять бодрости духа, усиленно заниматься... Дорогой Григорий Давыдович! Если бы он знал, как часто мы сейчас вспоминаем наши довоенные занятия, во время которых он сумел заразить нас своей любовью к Северу, к этнографии! Правда, мы, наверное, не всегда были так старательны, как ему хотелось. А вот теперь — он где-то постоянно рискует жизнью, а мы... учимся, но разве так, как хотелось бы нам!..

20 ноября. А все те же 125 г хлеба и тарелка жидкого супа в день — долго ли так можно протянуть? Но надо не думать об этом. После длительного перерыва должны возобновиться занятия селькупским языком с Г.Н. Прокофьевым. У нас снова есть этнографический кабинет в аудитории № 17, заведует им по-прежнему Аполлинарий Игнатьевич Маркон. Заведующей кафедрой у нас назначена В.И. Цинциус и т.д. Я даже тут купила 1 т. «Истории Сибири» Миллера! Назло врагам.

27 ноября. На днях после долгого перерыва пришла открытка от папы из Астрахани, а сегодня — от Ники... из Ленинграда. Примерно через полмесяца он окончит курсы и поедет на фронт (или отправится пешком, увы). Он беспокоится о нас. Но что делать — вот сейчас тревога, палят зенитки, сбрасываются бомбы. Мамы дома нет. Хорошо,

если она сидит где-то в бомбоубежище, хотя и это плохо, — тревоги длятся по три часа.

30 ноября. Читаю «Плавание Жаннетты» Де-Лонга. Такие книги сейчас, пожалуй, читать не стоит. Книги об арктических экспедициях нужно читать, сидя в теплой комнате, имея перед собой вазу с конфетами, печеньем или чем-нибудь подобным. Тогда дела великих путешественников покажутся поистине удивительными! Читать же их в бомбоубежищах, на голодный желудок, проведя перед этим полчаса под артиллерийским обстрелом, — не стоит. Но раз я взялась, я дочитаю. И даже потом буду читать путешествие Норденшельда. Время не должно пропадать даром! Но, увы, оно пропадает: не успеешь оглянуться — вечер. Нет, не совсем так. Дни теперь кажутся странно длинно-короткими: ничего не успеваешь сделать, но до очередной «еды» всегда так бесконечно далеко. Смешно и грустно.

Тут была на раскопках нашего общежития на 5-й линии ВО. Дом полностью развалился. Разбирали завалы. Одну студентку никак не могли достать, хотя она была жива, — как-то ей завалило ноги. Я ее потом не видела, но говорят, что она поседела... Вот так мы живем. Опять тревога, а мамы все нет!

Г.Д. Вербов нам пишет, и мы ему отвечаем, чаще я. Его бодрость прибавляет сил.

3 декабря. Я хочу верить, что перелом на фронте произойдет скоро, но время идет, а улучшений нет. Вчера мама была у Ники и видела его. 8-го у него выпускной экзамен! Увидимся ли мы еще?..

Идет частичная эвакуация на самолетах, но нас это не коснется. Иногда с мамой тоскуем, что не делали в свое время запасов продуктов, казалось, что это не надолго. Теперь бы это пригодилось, а так мы форменным образом голодаем уже около трех месяцев. Учеба в университете почти заглохла, Нике мы ничем помочь не можем. Что-то тоскливо на сердце..

11 декабря. За последнее время произошли крупные изменения и в общественной и в личной жизни. Дела на фронте у нас пошли значительно успешнее: обратно взяты Ростов-на-Дону, Тихвин. Наши части продолжают продвижение. Англия и США с 7-го находятся в состоянии войны с Японией. Англия также объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. Рузвельт и Черчилль выступали с краткими, но выразительными речами. Уже начались военные действия — Япония напала на владения США и Англии на Дальнем Востоке. Трудно сказать, как это все отразится на нашем положении, но события разворачиваются поистине грандиозные, и мы не одиноки.

Что касается личных, домашних дел, то тут обстоят дела так: Ника должен был зайти от 4 до 10, но не зашел. Направлен он уже в часть — неизвестно и узнать трудно: у нас, как в 1918 году, не ходят трамваи, а в Лесное идти пешком не так-то просто. Кстати, и света у нас уже давно нет, сидим с коптилками и ложимся спать в 8 часов. Новое: с сегодняшнего дня мама пошла на работу в госпиталь, боюсь, что это ей будет трудно, возможно, надо было устроиться мне, но тогда надо отчислиться из университета. Мама будет получать рабочую карточку.

16 декабря. Трудно отоваривать карточки: в городе нет крупы, масла. Впрочем выкупленное так быстро съедается...

На улицах сказочно красиво — все бело от инея. Но тут же рядом на саночках везут гробы. Сейчас много умирает людей. Боюсь за маму, хотя она как-то еще держится.

31 декабря 1941 г. Завтра Новый год. Когда-то мы часто встречали его у Вознесенских: огромная елка, много гостей, обильное угощение (почему только раньше в гостях никогда не хотелось есть!). А сегодня... Со взятием Ростова дела на фронтах идут более, чем успешно. Но материальное положение наше чрезвычайно плачевно. Сейчас 10 часов. Мама на работе, не придет на ночь. Я еще ничего не ела, и это не предвидится в ближайшие часы: хлеб на сегодня у нас съеден еще вчера, новых карточек пока нет. Словом, я, может быть, пошла бы встречать Новый год к Оле с ночевкой, но нельзя же прийти с пустыми руками и желудком... Признаюсь, у меня на душе тоска; беспокоюсь о маме, Нике, папе; холодно, голодно, нет света. И главное — старые условия вернутся еще очень не скоро. Правда, с 25 декабря нам дают по 200 грамм, а рабочим по 350 грамм хлеба. Но мы так изголодались, что это больше чем мало. Смертность в Ленинграде ужасна. Будьте прокляты фашисты, принесшие нам все это!

12 января 1942 г. Очень тяжело. Смертность в Ленинграде не уменьшается. Умерли дядя Ваня и Александр Леонидович.

26 января. Ну вот, и январь на исходе. Как бы хотелось думать, что все худшее позади, ведь мы пережили немало. Но жить становится все тяжелее и тяжелее. Морозы стоят тридцатиградусные, вода всюду замерзла, приходится возить ее из Невы! В связи с этим ужасные заторы с хлебом, в столовых, в банях. Мы в бане не были уже месяца два... Все ходят грязные, закопченные, голодные... Мы ложимся спать в 8 часов вечера и встаем (вернее просыпаемся) в шестом часу. Что-то я совсем расклеилась — надо держаться, пока живы — надо держаться.

28 января. Вчера умер Боря Грубник. У нас в доме уже умерло человек пятнадцать. Неужели фашисты достигнут своего и весь Ленин-

град обречен на вымирание? Последние 3—4 дня не получаем даже хлеба, выдают муку. Но вот наша соседка Люба ушла из дома в пять часов утра, а сейчас уже 12, ее же еще нет. Что же будет с нами? Уже идет восьмой месяц войны. Ника уже давно на фронте, но писем от него нет. Давно не получали писем и от Вербова, но и самим не хочется писать.

6 февраля. Меня положили в госпиталь от истощения. Это на перулке Матвеева. Здесь кормят очень скудно, но все же я имею два раза в день жидкую кашу. Мама ушла из госпиталя: ее как учительницу направили на работу в детский дом, созданный для детей, потерявших родителей от голода или бомбежки. Организовали его в доме на углу Крюкова канала и Театральной площади.

10 февраля. Влачу жалкое существование: утром просыпаюсь в 5 часов и думаю о разном, лежа в темноте, пока не принесут более чем скудный завтрак. Потом мы все ждем обеда. Некоторые из больных находят удовольствие в том, чтобы вспоминать о кушаниях, которые они ели в довоенной жизни. Это ужасно. Я лежу молча и что-то читаю — что попадается под руку...

1 марта. Я долго не писала, а между тем произошло немало событий, важных для нашей жизни. 16 февраля я выписалась из госпиталя, так как заболела мама, да и не в силах я была там больше лежать! Положение с продовольствием в городе не сравнимо с январем, но все же неважное. Главная же новость, которая меня ждала, это то, что, как оказалось, университет эвакуируется в Саратов. Первой мыслью было — ехать! Но во время болезни я упустила время, как-то ушли и силы. Мы с мамой оказались очень слабы для такой дальней дороги (слабость, расстройство желудка и т.п.). Не оказалось теплой обуви. Словом, мы остались. Первая партия уехала 25-го, вторая уезжает, видимо, сегодня. Я знаю, что у мамы главным чувством было — остаться поближе к Нике, но я теперь на неопределенное время не студентка, получаю иждивенческую карточку (300 грамм хлеба), лишилась пропуска в столовую. Хожу помогать маме в детский дом. Боже, какие там дети! Несчастные, жалкие скелетики. Кто за это все ответит?..

Да, умер Георгий Николаевич Прокофьев. Как будто в конце января. Что написать об этом? Немыслимая потеря... После долгого перерыва получила письмо от Григория Давыдовича. Он на день заезжал в Ленинград и знает о смерти Георгия Николаевича. Беспokoится, что мы ему давно не писали. Я собралась с силами и послала ему бодрое письмо, хотя... Сегодня пришло письмо от Ники (помечено 8 февраля). Он сейчас в г. Колпино. Беспokoится о нас. От папы последнее письмо

было от 22 января. Как-то там — в Астрахани? Немцы так близко от Волги...

На днях была у Оли. Она хворает. Не знаю, писала ли я, что она работает медсестрой в детской больнице. От нее узнала много грустного: умер Александр Маркович, ее дядя, который когда-то учил нас географии в школе; нет известий о Мише, ее молодом муже.

Что написать еще? В Ленинграде все еще нет света, воды, не ходят трамваи, не хватает хлеба. У нас с мамой нет дров и денег. Дрова надо колоть, а сил нет. Деньги уходят на хлеб, который иногда можно купить по 30 рублей за 100 грамм.

15 марта. Я по-прежнему работаю в детском доме на Театральной площади. У меня группа старших детей (6—8 лет). Очень истощенных детей взяли в больницу, так что сейчас в большинстве — ходячие. Приходится делать все — приносить еду с первого этажа, уносить тарелки, мыть полы и заниматься с ребятами. Основная воспитательница — пожилая учительница, очень славная. Мама работает с младшей группой, ей труднее, так как у нее сейчас нет помощницы. Но обещают. Детей по условиям Ленинграда кормят прилично. Мы тоже получаем какую-то еду. Так что с этим стало полегче. Отдельно еще получаем хлеб — 700 грамм в день на обе карточки.

Сегодня у нас был воскресник по уборке снега во дворе детского дома. Снег вывозили на фанерах в Крюков канал. А потом нам дали горохового супа с хлебом и горячего сладкого чая. Неужели все самое трудное позади?..

18 апреля. Как светит солнце! Оно заглядывает даже в нашу обычно темную комнатенку (мы еще не вернулись в свою квартиру, так как там очень холодно еще). На улице настоящая весна! Месяца четыре тому назад я бы не поверила, что мы доживем до этих весенних дней. У меня сейчас в группе нет детей, и я дежурю по ночам. Дело в том, что эвакуировали часть детского дома на Северный Кавказ, в частности, старших детей. Мы, возможно, могли тоже уехать, но все какой-то страх оторваться от Ленинграда, от Ники (хотя мы его уже давно не видели)... Словом, мы не уехали. Сейчас эвакуация снова прекращена до открытия навигации или очистки дороги. Словом, нам, кажется, судьба — вынести всю войну в Ленинграде. Но что бы там ни было, а дело к весне — солнце всегда рождает какие-то надежды!

Да, с 15 апреля пошли трамваи. Я была на Театральной площади, когда шел трамвай. Все останавливались и смотрели на него, как на какое-то чудо.

11 мая. Уже 11 мая! Прошло 1-е Мая — праздник, который я так

любила. Я помню, бывало с Никой встаем рано на демонстрацию (папа с мамой последние годы не ходили). Еще рано, и солнца нет, на улицах еще народа немного, но уже чувствуется, что праздник — всюду красные флаги, все приедуты... Потом сама демонстрация с ее песнями и весельем! А дома уже мама приготовит вкусный обед, испечет пирог. Обычно 1-го Мая у нас бывали гости: тетя Шура, тетя Оля, Кира, Оля, Зоя. Как хорошо было! Это 1-е Мая мы встретили в детском доме, угощением послужила тарелка каши и стакан чая. Вспомнили ли нас папа и Ника? Что-то они делали в этот день?

Увы, трудности продолжают. Умерла Антонина Марковна, и Оля осталась совсем одна. А у мамы открылось кровохарканье. Когда-то она болела туберкулезом — неужели это возврат? К счастью, сейчас это как будто прошло. Но что-то будет?

12 июня. Все произошло неожиданно: завтра мы уезжаем из Ленинграда — все же уезжаем. Нет слов, чтобы выразить чувства, которые переполняют меня: тут и сожаление, и радость, и тревога... Но мы едем. Сколько было за прошедший месяц всего. 4-го мая заходил Ника. Он советует нам уехать при возможности: мама больна (у нее еще новое — не может спать лежа, так как задыхается), у меня правая нога распухла от цинги (еще новый бич ленинградцев). Эвакуируется весь детский дом — здесь никто не остается. Что же нам было делать? Университет уехал, сейчас вот детский дом. И вот мы едем. Собрали сколько разрешили вещей, собрались сами, собрали детей, часть из которых очень слаба. Мы даже не знаем, куда едем, но сейчас уже все равно.

18 июня. Мы выехали 15-го в 6 часов вечера. Ехали через Ладогу, где нас пытались бомбить. Стреляли зенитки, установленные на крыше парохода. А сейчас проехали Вологду, т.е. самая трудная часть пути позади. Успокаивали детей, которые испугались стрельбы. Вспомнила, как еще в детдоме на Театральной во время бомбежек рассказывала детям что-нибудь, стараясь заглушить «лай» зениток, установленных на соседнем здании, где булочная, — бомбоубежища у нас не было, и приходилось полагаться на волю случая. Вот и сейчас — судьба оказалась к нам благосклонной, и мы выехали на Большую землю... Что-то ждет нас там?

* * *

Дети были доставлены в Куйбышевскую область (село Суходол), где учились и жили до конца войны, затем большая часть их вернулась в Ленинград. Исключение составили те из круглых сирот, которых взяли на воспитание местные жители.

НАЗЫВАЛИ НАС «ДУХОВНЫМИ СЕСТРАМИ»

Вероятно, мало кто знает, что наряду с прославленной Публичкой, всю блокаду работали районные городские библиотеки Ленинграда. И как нужны они были бойцам и гражданскому населению!

Вот идет военный с фронта от Пулкова в город (по служебному ли делу или отпущен навестить семью) и видит на Московском проспекте, совсем недалеко от переднего края обороны, вывеску «Библиотека». Окна здания защиты фанерой, но на двери объявление о часах работы. С удивлением дергает дверь, она примерзла, однако открылась. В помещении при слабом свете коптилки двигаются закутанные в пальто, платки, обутые в валенки женщины-библиотекари... Их, конечно, не так много теперь, этих читален, но они есть. В библиотеку заходят и постоянные гражданские и военные, зашедшие по пути «на огонек». Завязывается общий разговор о текущих событиях. Голоса бодрые, иногда слышится и шутка.

Немного согреться библиотекарю можно в задней комнате, где стоит печурка, на которой поставлен чайник с горячей водой. Невелик был коллектив библиотеки, но держались стойко, упорно, боролись с дистрофией. Побудет кто на бюллетене, но, едва поправившись, снова к своему «станку» — к книгам в библиотеку. А когда было нужно, библиотекари вместе с другими жителями строили совсем близко от библиотеки баррикады из всего, что попадалось под руку (ведь были такие тревожные дни, когда казалось, что враг мог пробраться в город).

Был из числа этих библиотечек особый отряд библиотечек-передвижников, чуть не сказала — «подвижников», ибо работали они подчас действительно через «не могу». Эти передвижники организовали филиал библиотеки, вернее, передвижки в частях Ленинградского военного округа, в госпиталях, нередко далеко от своей базы. Трамваи не ходили, свирепый мороз, темнеет быстро. Книги приходилось переносить на спине, в пачках, в мешках. Идти было, конечно, трудно, путь далекий, остановишься передохнуть не один раз и снова вперед, к цели — к своим раненым, подшефным, к больным, защитникам своего города.

Силы, вероятно, появлялись от мысли, что знаешь: книги, которые ты несешь, с таким нетерпением ждут раненые бойцы, доставленные

с фронта. Большинство из них были земляки — ленинградские рабочие, студенты, много совсем молодых. Да, они читали, эти измученные болью люди, едва пришедшие в себя от тяжелой раны, они тянулись к книге, требовали книгу, они делали индивидуальные заказы, часто неожиданные — например, Стендаля и, конечно, Джека Лондона, Горького, Дюма. Бывало и так, что раненый обидится, отвернется, если сразу не выполнишь его заказ. И вот стараешься, если нет в передвижном фонде, то несешь книгу из своей личной библиотеки, или просишь у товарищей, нет ли, чтобы хоть книгой утешить израненного фронтовика. Работали такие передвижки, главным образом, в палатах с тяжелоранеными.

Зато как радостно было получить благодарность от своих подшефных, когда они получали заказанную литературу. Как-то забывалась своя собственная усталость, боль в цинготных ногах, которые прошли не один километр с тяжелой ношей. Некоторые из-за ранения не могли сами читать, приходилось им читать тихо вслух, чтобы не мешать другим.

Не скрою, приходилось тяжело библиотекарю, когда разносили обед или ужин, как ни скуден был госпитальный рацион. От запаха пищи, от голода кружилась голова, — ведь библиотекари городских районных библиотек получали карточки служащих. В это время мы уходили из палат в соседнюю комнату, где стоял наш шкаф с книгами, наша передвижка.

Была еще одна разновидность нашей работы. И как откажешь раненому, который хочет известить своих родных, что лежит в таком-то госпитале в Ленинграде? И вот шагаешь, сам едва передвигая ноги, по указанному адресу, и когда найдешь, вручишь конвертик, расскажешь, — сколько слез, радости, благодарностей!.. А бывало, что никого из родных не застанешь, — убиты, умерли от голода или эвакуировались. Но зато как хорошо на душе, когда видишь, что в воскресенье к «твоему» раненому пришли родные, которых ты известил!.. Иногда приходилось и писать под диктовку раненых.

Вот за такую нашу работу (книги, письма) и называли нас раненые «духовными сестрами».

Работая в частях МПВО, библиотекари-передвижники вместе с бойцами по сигналу воздушной тревоги дежурили на крышах, тушили бомбы, а в перерывах между бомбежками (на артобстрелы тогда уже не обращали внимания) выдавали книги, рекомендовали литературу, словом, «работали с читателем», несли службу, не выпуская из рук своего «оружия».

Л.Г. Нечаева

МЫ СТРОИЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЧЕРЕЗ ЛАДОГУ

В 1942—1943 годах я участвовала в строительстве железной дороги по льду Ладожского озера. Одновременно мы расчищали Дорогу жизни.

Железная дорога была рассчитана на один месяц эксплуатации, предполагалось по ней переправить продукты блокированному городу.

Строили так: во льду пробивались проруби, вставлялись бревна-сваи, на них укладывали шпалы и рельсы. Работали женщины от шестнадцати до шестидесяти лет и мужчины до шестнадцати и после шестидесяти лет. Работали в две смены по двенадцать часов, жили в вагонах.

Л.И. Смирнова

НАС ВСЕХ ПОДДЕРЖИВАЛА АБСОЛЮТНАЯ УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ

Каждый год к концу января я начинаю себя чувствовать тревожно. Это приближается день освобождения Ленинграда от блокады, и как бы ни было парадоксально то обстоятельство, что это день снятия блокады, а не начала ее, и надо бы радоваться, но получают дни тяжелых воспоминаний, потому что к этому времени было за плечами много потерь и невыносимых тягот. Если бы мне предложили прожить мою жизнь заново, включая войну, но так, чтобы я ничего не знала о том, что ждет меня, то как ни соблазнительно прожить вторую жизнь, я бы не взяла ее именно из-за блокады. И.С. Тургенев написал: «Хочешь счастья — познай сначала горе». После войны я всегда чувствовала себя счастливой, что бы ни было; и еще долго было странное чувство, что мне подарена жизнь кем-то, кого уже нет, и я проживаю и еще чью-то жизнь.

...За три месяца до войны мне исполнилось 16 лет, я была полна радостями того возраста, школьными заботами. Мы с подружкой испытывали даже чувство влюбленности в одного и того же мальчика. Всей компанией мы часто ездили гулять в парки Пушкина. День войны пришел неожиданно. Был прекрасный летний воскресный день 22 июня. Мы с подружкой собрались на весь день на остров Вольный (в конце Васильевского острова), который вдавался в Финский залив своей узкой болотистой частью. У ее родителей, как у многих ленинградцев, стояла там моторная лодка, туда обычно ездили с целью покататься по заливу. На Вольный с Голодая перевозил на лодке старенький лодочник. В то солнечное утро он был очень мрачен и молчалив, а



*Людмила Ивановна
Смирнова, научный сотрудник
Отдела Кавказа, Средней Азии и
Казахстана. Во время войны
работала санитаркой
в госпитале. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».*

мальчики, попрыгавшие в лодку, без умолку гадали о войне. Подруга насмешливо заметила: «Разве мальчишки могут говорить о чем-то другом», — а лодочник печально ответил: «Началась война!». Так, в лодке, посреди залива между Вольным и Голодаем, я узнала о войне. На острове уже не было беззаботной атмосферы. Громко звучала музыка по радио, потом передавали речь Молотова. Мужчины с мрачным видом затащивали лодки в сараи, женщины молча собирали вещи и еду. Остров опустел.

В то лето мы, школьники, работали по заданию школы и ЖАКТа. Я разносила повестки военкомата по домам. Квартиры были какие-то пустые, люди очень молчаливые, и мужчин я почти не встречала, часто мне говорили, что они уже ушли добровольцами. Очень грустно было выполнять эту работу.

Вскоре нам поручили разбирать перегородки на чердаках домов (раньше каждая квартира имела свой чердак для сушки белья). Мы ломали сухие пыльные перегородки, без конца чихая от пыли. Доски выносили во двор, а оставшиеся балки и прочее красили специальной белой противопожарной краской. Чердаки стали колоссальными — от края и до края дома. Мы и представить себе не могли, как наша работа поможет впоследствии при тушении «зажигалок». На чердаки мы притаскивали воду и песок.

Кроме этих работ мы, школьники, помогали переоборудовать некоторые школы под госпитали. По молодости лет мы успевали и побаловаться, и посмеяться, и совсем не верилось, что идет война. Верить начали тогда, когда стали провожать женщин с детьми в эвакуацию. Я помогала женщинам нести легкие чемоданчики с одеждой, вести детей. Летом уезжали еще неохотно, многих заставляли, они отбивались, а те, кто уезжал, были в полной уверенности, что скоро вернуться. Из нашей квартиры уехали все соседи. Мы с мамой должны были уехать к отцу, который работал тогда по призыву Кирова в Хибинах, где наша семья прожила несколько лет, но отец прислал телеграмму, чтобы мы остались, так как у них тоже идет эвакуация на Урал и в Казахстан. Так мы остались в Ленинграде.

Первые известия о приближающемся фронте принесли нам женщины, которые были отправлены на рытье окопов в Лужском направлении. Под натиском немцев они бежали оттуда. Вскоре заняли Павловск и Пушкин, где жила семья моего дяди, и он (семья эвакуировалась) едва успел приехать на одном из последних грузовиков, которые всю дорогу бомбили. Грузовики вынуждены были останавливаться, а люди — прятаться по канавам и кустам.

Вскоре в магазинах начали пустеть полки. Мама давала мне деньги, но купить практически было нечего, и я несколько раз покупала кофе в зернах — как он нам помог потом! Мы пекли из гущи скользкие лепешки на касторке, но, к сожалению, кофе кончился уже в ноябре. Еще хуже стало с продовольствием после пожара на Бадаевских складах, где хранились продукты для города. Они горели несколько суток, большое пламя и дым можно было хорошо видеть отовсюду. Мы не подозревали, что это сгорали и наши жизни.

Город стал готовиться к обороне и уличным боям. Мы помогали засыпать песком стеклянные витрины на первых этажах, оставляя отверстия для оружия, рыли окопы. Помню, как во время налетов людей заставляли прыгать в окопы в Румянцевском (Соловьевском) саду. Мы помогали оборудовать бомбоубежища в подвалах домов, в которые спускались только вначале, потом старались не ходить туда — казалось, что наверху ты более свободен, и вообще — чему быть, того не миновать! Дома были старые, толстостенные, считалось наиболее безопасным вставать у капитальной стены или между дверями на лестнице.

Осенью мы пошли в школу, но оказалось, что в ней расположился госпиталь, и нас послали в школу на 8-й линии около Большого проспекта (мы жили на 2-й линии Васильевского острова). Занятия шли безалаберно, учителя чужие, состав ребят непостоянный из-за частых переводов из школы в школу. Однажды в школу попала бомба, и нас направили на 5-ю линию. Это была моя последняя школа в осажденном городе.

Наступил декабрь. Было очень темно, холодно, и без конца бомбили. Чаще всего мы учились в бомбоубежище под зданием школы, но туда приходили с детьми из соседних домов, дети капризничали, их громко успокаивали. Из программы нашего 9-го класса больше всего запомнилось объяснение закона маятника Фуко, который учительница замерзшими пальцами старалась остановить, а он все качался и не мог остановиться, потому что Ленинград постоянно бомбили, а дома остекленели от мороза. Уроки литературы казались странными сказками, неправдоподобной жизнью кого-то где-то. Наступало тяжелое время, когда голова отказывалась думать о чем-либо, кроме крошечки хлеба. Осенью мы ездили на трамвае куда-то в поля, где давно сняли капусту, но остались торчать высокие жесткие, как дерево, кочерыжки. Люди с мешками рубили их. Мы тоже набрали два рюкзака, и я удивлялась, что эта вареная жвачка такая вкусная. Но и ее съели к декабрю.

Люди боролись за жизнь как могли. Мы с мамой и бабушкой получали иждивенческие карточки, и никаких продуктовых запасов не

было. Мама строго делила наш хлеб на три части, и мы ели три раза в день эти маленькие дольки, стараясь не торопиться, медленно жевать и пить горячую воду. С водой становилось все хуже. Ее уже не было в домах, она кончалась и во дворах, куда выводили трубы водопровода. Мы потянулись к замерзшей Неве. Ближе всего нам было к Тучкову мосту. На саночки ставили бельевой бачок и ведерочко поменьше. Шли медленно, так как сил было мало везти даже эти пустые посудыны. Недалеко от Тучкова моста у набережной Макарова были пробиты проруби. Зима стояла очень морозная, проруби все сужались, вокруг них нарастали высокие наледы от пролитой воды. Чтобы достать воду, я забиралась на наледь, ложилась ничком и руку с ведром опускала в прорубь. Сзади меня держали за ноги, чтобы не соскользнула в воду. Наполнив бачок, промерзшие и обессиленные плелись домой. Здесь было еще хуже — надо было поднять воду на 4-й этаж. По нашей лестнице жильцов почти не осталось: одни уехали, другие умерли. Осталась большая семья с детьми на первом этаже, супружеская пара с тремя подростками на нашей площадке да мы в пустой квартире. Дом промерз так, что на кухне все было покрыто белой изморозью.

Еще осенью ленинградцы стали сооружать в комнатах печурки, которые быстро нагревались, и на них можно было готовить еду. Мы тоже поставили такую печурку, закрыли наглухо вторую комнату, все окна и двери заткнули половиками, тряпьем, портьерами, но это помогало мало. Трудно было с дровами. Дрова лежали в сарае во дворе, надо было принести их на кухню — мама понимала, что силы уходят, и вряд ли мы сможем за ними часто ходить. Носили дрова понемногу в мешке за спиной. Сколько бы мне ни приходилось впоследствии физически трудиться, этот труд не мог сравниться ни с чем. И однажды я опозорилась. Мама поправила мой мешок за спиной, я вдруг пошатнулась, мешок с грохотом упал, а я — расплакалась. Помню, что плакала от безнадежности, беспросветности, от того, что очень хотелось есть и мне не выдержать мучений. И еще от стыда, что заревела. Мама бросилась ко мне, подумав, что меня ушибло мешком, но сразу поняла все. Мы стояли в сыром, темном сарае. Свечка догорела, кругом стояла жуткая тишина. Мама обнимала меня, бормоча ласковые слова. Потом она куда-то ушла и вернулась с маленькой баночкой хряпы. Оказывается, она ходила к соседке и умолила ее дать немного черной кислой капусты (хряпы). Эта женщина нас тогда очень выручала. Дома мама сразу растопила печурку, и мы ели щи из хряпы, пили горячую воду раньше положенного времени. Мне молчаливо со-

чувствовали, хотя говорили о другом, а я никогда в жизни не простила себе этого малодушия, отступления от негласно установленного мужества в поведении. В то время люди страдали, мучались, но я не видела плачущих, может быть, плакали в подушку, а на людях — только те, кто получил похоронку. Нас всех поддерживала абсолютная уверенность в победе. Она жила в нас, иначе мы не смогли бы выжить. Это был не ура-патриотизм, а глубокое внутреннее чувство. Мы глубоко переживали не только ленинградское горе, но потерю советских земель, жалели военных, в смелости которых не сомневались, но понимали, что им очень трудно.

С нами жила моя няня Таня, ставшая полноправным членом семьи. Она очень любила меня и баловала. Когда я подросла, мама предложила ей уйти, поступить на работу, создать собственную семью, но она считала нас своей семьей, меня — своей «доченькой», замуж не пошла и говорила, что мы ее и похороним. Так оно и вышло. Она вернулась в декабре перед Новым годом с окопов совсем больная и вскоре умерла.

В январе 1942 года в Ленинграде наступил пик смертности. Умирали целыми семьями в квартирах или прямо на улицах. Если у умерших в квартирах оставались родственники, они заворачивали покойников в одеяла или простыни, выносили на улицу или оставляли в подъездах домов — везти на саночках на кладбище уже не было сил. Трупы подбирали специальные машины, везли в морг, а оттуда в братские могилы. 25 января, в день своих именин, умерла моя няня Таня. Мама и тетя завернули ее в одеяло, завязали, и мы с тетей повезли ее на саночках в братскую могилу за Смоленским кладбищем, где раньше было картофельное поле. Чем дальше, тем тяжелее было везти. Мы ехали, не торопясь, молча, но надо было успеть до темноты. Этот путь от 2-й линии туда и обратно занял весь день. Чем ближе мы подъезжали, тем больше видели таких же, как мы, плетущихся, закутанных до глаз людей и саночки. Дома кончились, начался пустырь, виднелись маленькие строения вдали и какие-то непонятные предметы. Подъехав поближе, мы увидели: это умершие, взрослые и дети, застывшие в самых невероятных позах. Очевидно, люди везли хоронить своих близких, но не довели, потеряв последние силы. По лицам и позам умерших можно было понять, как мучительна была их смерть. А кругом валялись детские куклы и игрушки!

Подойдя к ближней вырытой траншее, мы увидели, что длинный, темный сарай, стоявший сбоку, — морг, заполненный до отказа. Умершие штабелями лежали и у стен сарая. Дно нашей траншеи тоже

оказалось заполненным. Мы решили сами положить Таню в могилу. Я стала спускаться, ступая на выбоины и выступы. Потом тетя спустила Таню, а я осторожно повезла ее по мерзлому грунту. И уложила на дно. С трудом поднялась потом наверх, оступаясь и падая, пока не поймала протянутую тетину руку. Уже в темноте мы прибрали домой.

В январе двоюродная сестра устроилась на работу санитаркой в больницу, где для поддержания сотрудников главврач приказала раздать часть сухой горчицы, заготовленной для горчичников. Мы ее вымачивали, отстаивали, немного просушивали и пекли лепешки, едва смазывая сковородку касторкой. Еще раньше мы съели все гомеопатические сладкие шарики, какие имелись, и ни с кем ничего не случилось.

Вспоминая то время, я хочу сказать, что, несмотря на все трудности, мы жили «не хлебом единым». Мы слушали радио, при фитильке коптилки старались читать книги. Мне больше всего нравилось читать про любовь, особенно в произведениях Тургенева и Ж. Санд. И очень нравились описания пиршеств. В конце концов мама и тетя стали вслух читать кулинарную книгу Молоховец. Это было отвлечение от голодной действительности. К нам за книгами приходили и соседи по дому.

В те дни начала плохо себя чувствовать бабушка. Ей велели лежать, беречь силы, что было нельзя делать. Надо было хоть как-то двигаться, в чем мама ее все-таки убедила. Мне пришлось идти за лекарством, которое можно было купить только в аптеке на Загородном проспекте. Меня накутали, и я побрела по всей 2-й линии от Среднего проспекта до Невы, спустилась на лед у Соловьевского сада. Лед в ту зиму был очень толстый, это я знала по прорубям на Неве. К Медному всаднику вилась тонкая тропинка через многочисленные торосы. Идти было трудно, я часто останавливалась посреди Невы передохнуть. Где-то ухали орудия. Бомбежки и обстрелы пока не начинались. Было так красиво в розовато-белесой мгле. Я стою одна посреди города, вглядываюсь в берега моего Ленинграда и вдруг почувствовала его живым, молча страдающим. Но он стоял такой уверенный и гордый, как будто пренебрегал своими разрушениями, не сдавался. Насмотревшись, я будто живой воды напилась, и мне стало легче.

В феврале я устроилась на мою первую в жизни работу — рабочей на фабрику «Красный Октябрь», где до войны выпускали пианино, а в войну — продукцию для фронта. Сначала работала на дворе, потом нас послали колоть лед на набережной у моста Лейтенанта Шмидта и Академии художеств. Мне выдали большие рукавицы и лом, который вываливался из рук. Вскоре нас послали за город, на окопы, очищать

их от завалов снега, чтобы солдаты могли ими пользоваться в случае надобности. Договорились все прийти к одной из работниц, чтобы ехать всем вместе. Встала я ночью, в 4 утра была у нее, и мы отправились пешком к Финляндскому вокзалу, откуда уходил наш паровой поезд часов в 5 или 6 утра. Надо было доехать до станции Пери. Приехали мы только к вечеру. Из-за обстрелов и по другим причинам поезд часто останавливался, мы выходили и «рассыпались».

Нас поселили в сараях и бывших конюшнях, где были устроены нары. Спали мы в одежде, стараясь прижаться друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Нас кормили три раза в день, конечно блокадной едой, но хорошо помню горячие черные кисловатые щи, после которых хотелось спать. Мы целыми днями выгребали лопатами снег из окопов, но снег уже таял и стекал обратно в окопы. Лопаты со снегом были очень тяжелыми. А когда над нашими головами высоко в небе пролетали бомбардировщики бомбить наш Ленинград, работа валилась из рук. По направлению самолетов, по отзвукам бомбежки мы пытались определить, какой район бомбят, плакали от страха за своих и посылали проклятия фашистам. Вскоре самолеты летели обратно, облетченные, с другим, высоким звуком, а мы пытались предсказать, что они натворили в Ленинграде. И так было каждый день...

Однажды усталые мы брели в свой сарай и, увидев попутный грузовик, попросили нас подбросить. Солдаты подняли нас в кузов. Завязался разговор, солдаты очень нас, ленинградцев, жалели. Мы все спрашивали их, когда же они погонят фашистов. Нас успокаивали, обнадеживали. А затем солдаты достали из-за пазухи свои краюхи хлеба и отломали нам всем по куску. Нам было неудобно, отказывались, но они так искренне угощали и так сочувствовали нам, блокадникам. Живы ли эти щедрые солдаты, где-то они?

В Пери мама прислала мне письмецо, из него я узнала, что дядя ушел на фронт, тетя с ребятами переехали в комнату, которую им выделили, а моя любимая бабушка, не выдержав голода, умерла. У мамы не было сил везти бабушку на кладбище, она могла довести ее на саночках только до морга — и всю жизнь потом каялась. После войны мы с мамой нашли ее в списках похороненных на Пискаревском кладбище. В то время там на траншеях ставили столбики с годом и месяцем захоронения, количеством погребенных (на бабушкиной траншее стояло «3 тысячи»). Я очень любила бабушку и переживала ее смерть. Вспомнилось, как осенью, когда немцы подошли к Ленинграду, моя бабушка тихо, спокойно сказала маме: «Не может быть, чтобы немцев пустили в Ленинград, этот город не отдадут. Но на всякий

случай ты возьми топор и встань у дверей, не открывай, а если ворвутся — то бей, не жалея. А Людмилу мы спрячем». Мне тогда стало страшно именно оттого, что это говорила моя тихая, тактичная, скромная бабушка, которая всегда хорошо относилась к людям. Мама осталась в городе одна.

С окопов я вернулась в мае и поступила работать санитаркой в больницу Водников на Васильевском острове, Съездовская, 15. Когда-то это была первая грязе- и водолечебница. Во время войны она стала небольшим стационаром, где лечили и подкармливали обессиленных блокадников. Вспоминаются врачи, медсестры, санитарки, которых было очень мало, но работали они самоотверженно. Мы неохотно уходили домой, в пустые холодные квартиры. Здесь казалось и не так страшно. Меня назначили связистом, в ночное время. Я сидела в кресле около громкоговорителя, где всегда звучал ленинградский метроном, а во время ночных налетов должна была оповещать все посты, чтобы они принимали боевую готовность на случай необходимости переноса больных. А как хотелось спать после дневной работы! Кроме основной работы, нас посылали на разгрузку дров с баржей на Калашниковой набережной. Мокрые скользкие бревна скатывали прямо на панель, привозили в больницу, пилили, кололи, сносили в подвал. И все это делали голодные немощные женщины и мальчики допризывного возраста. Посылали нас разбирать на дрова и разрушенные дома в Новой Деревне, на набережной Макарова (там, где сейчас стоят белоснежные туристские корабли и «Метеоры»). Разбирать дома было тревожно — остатки балок, лестниц, полов обваливались под ногами, стояла едкая пыль, но главное то, что везде были остатки давно исчезнувшей жизни. Мы смотрели на ненужную куклу, искореженную кровать, сломанный стол... Было тяжело. У меня сохранились некоторые справки тех лет и рекомендации в комсомол от двух старых партийных сотрудниц.

Казалось, все люди, лежавшие в больнице, были старичками-скелетами. Не верилось, что это люди средних лет и молодые. Ранняя седина, громадные от голода глаза, полные страдания и надежды, улыбка, открывавшая все зубы от первого до последнего — настолько человек походил на скелет. И эти люди были счастливы, что они вместе, что им дают лекарства (им бы дать побольше еды!) и кормят хоть как-то три раза в день горячей пищей. Лечили их, скорее, психотерапией: худая, тоже голодная потемневшая врач, но аккуратно причесанная, в (по возможности) чистом халате, входила в палату с улыбкой, шутками, приветливыми словами, садилась по очереди к каждому больному, слушала его, советовала. Больные заранее готовились к встрече с вра-

чом в определенный час. Радостно поздравляли друг друга с советскими праздниками или победами на фронтах и как бы на некоторое время оживали, говорили о военных и блокадных делах. Особенно мне помнится один длинный очень ослабевший старик, который в уме занимался своей высшей математикой и даже подсчитал мне, сколько километров я прохожу за день при своей работе. Были умирающие подростки — девочки и мальчики, которые ожили при регулярном питании и внимании персонала. Но одного мальчика, Колю, я запомнила навсегда. Его привезла мать совсем безнадежным, маленьким, бессильным. Через день-другой он немного ожил, но ел через силу. Приходила мать и кормила его. Мне сказали, чтобы я его всячески уговаривала есть. Он оказался страстным любителем книг и знатоком серьезной литературы. Он в восторге приподнимался с подушки и, глядя огромными восторженными глазами и улыбаясь всеми зубами, очень интересно говорил. Оказалось, что ему всего 15 лет. Больше всего он любил «Дон Кихота», считая его гениальным произведением, и был просто сражен, что я еще его не читала. Просил мать принести книгу, и она действительно ее принесла, эту толстую, тяжелую, изданную на хорошей бумаге книгу. Разговаривать с ним было интересно, но много нельзя, его надо было покормить, а он не ел, что было плохим признаком.

Однажды утром я пошла к нему, но кровать была пуста. Коли не стало. Многие годы хранилась у меня его книга, и всегда при речи о Сервантесе я вспоминаю Колю. Больница многим поддержала силы, вернула к жизни.

В дни снятия блокады я лежала в больнице, и все счастье освобождения, потоки радостных слез были за ее стенами. Бежали друг к другу сестры, больные и врачи, шумели, целовались. На улицы, говорят, из своих мрачных комнат высыпали все живые блокадники и бросались, незнакомые, друг к другу в объятия. Радовались, что не будут сыпаться на нас бомбы и снаряды, что прибавят еды. Но у некоторых организм так был подорван, что все-таки еще умирали и умирали. И все же, несмотря ни на что, впереди была надежда на жизнь.

САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ ИСПЫТАНИЕМ БЫЛ ГОЛОД

...В конце августа 1941 года мужчины — сотрудники учреждений АН СССР, расположенных на Стрелке Васильевского острова, — на основании решения райкома ВКП(б) объединились в отряд самообороны, который, в случае необходимости, должен был устранить грозящую опасность для объектов района. Командиром отряда утвердили научного сотрудника Института востоковедения Н.К. Дмитриева, комиссаром отряда был назначен автор настоящих воспоминаний. В программу обучения бойцов отряда входила строевая подготовка, изучение материальной части стрелкового оружия, гранатометания...

Вспоминается ночь 5 декабря 1941 года. Фашистская авиация совершила массированный налет на Ленинград. Подверглась бомбардировке и Стрелка Васильевского острова. Фугасная бомба упала на площадь между зданиями Библиотеки Академии наук и университета, совсем недалеко от парадных дверей Библиотеки, но не разорвалась, а ушла глубоко в землю. Там она пролежала до 1944 года, когда ее извлекли отважные саперы.

Самым тяжелым испытанием для нас было недоедание, затем голод, который вырывал из наших рядов родных, друзей, товарищей. Своим сознанием мы еще могли понять потери от огня противника, на поле боя, где шла борьба за свободу и независимость Родины, за жизнь города, но никак не могли смириться со смертью из-за нехватки или полного отсутствия пищи, когда буквально на глазах таял человек, когда слабость организма не только не позволяла двигаться «по прямой», но гасила всякое желание даже думать о чем-то другом, кроме еды...

В начале блокадного времени академическая столовая, расположенная в Таможенном переулке, продолжала работать, и в ней можно было получить обед, за который из продовольственных карточек вырезали установленное число талонов. Иногда давали дрожжевой суп, не вырезая талонов. (Он имел вид мыльной воды и не отличался приятным вкусом.) Иногда можно было получить биточки из хлопковых жмыхов, они были темно-зеленого цвета и почти несъедобны. Однако считалось большой удачей получить эти кушанья при сохранении талонов.

В столовой всегда имелся кипяток. В ту холодную зиму там можно было обогреться, встретить знакомых, услышать от них новости или подробности уже известных событий, обсудить их...

Г.Г. Шановалова

«Я НЕ ГЕРОЙСТВОВАЛА, А ЖИЛА...»

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила...

О. Бергольц

В этот день, 22 июня, было необыкновенно по-летнему тепло, солнечно, сверкала только что распустившаяся листва, даже в городе в воздухе чувствовался аромат цветения. И на душе у меня было празднично: я сдала последний госэкзамен на отделении литературы и языка в Пединституте им. А.И. Герцена и решила отметить для себя этот день — пойти в театр. Давно приметил я, что 23-го в Кировском театре должен идти «Лоэнгрин» с участием Лемешева и не брала билеты лишь из суеверия.

Мой папа, директор 384-й школы Кировского района уходил из дому рано в 7 часов (мы жили на углу Пушкинской и Бармалеевой) и, чтобы не шуметь и не будить меня, не включал радио. И вот я с легким чувством «свободного» человека, закончившего вуз, уже работающего в Пушкинском доме (ИРЛИ АН СССР) и законно имеющего выходной, иду по Большому проспекту Петроградской стороны, и мне кажется, что и всем так же хорошо и легко, как мне, и мне хочется улыбаться, и я даже не замечаю, что в идущих мне навстречу людях произошла какая-то перемена в выражении глаз, лиц... Но вот застучал метроном... А, подумала я, наверное мы еще установили какой-нибудь мировой рекорд... И тут раздается незабываемый голос диктора Левитана: «Говорит Москва! Слушайте чрезвычайное правительственное сообщение...». Когда в литературе встречается фраза «увидев (услышав) что-то он (она) остолбенел(а)»,



Галина Григорьевна Шановалова, научный сотрудник отдела Восточной Европы, фольклорист. Работала санитаркой в госпитале и на оборонных работах. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

обычно пробегаешь глазами, воспринимая, как метафору удивления. Но, увы, это реальное ужасное ощущение, когда человек не может осмыслить реальности произошедшего, когда «обрывается» и уходит куда-то вглубь сердца, ноги и руки перестают слушаться, и ты весь превращаешься в слух, зрение, как, все кажется, что ты что-то не понял. Вот это произошло и со мной. Я не понимала значения слова «война», но по лицам окружающих взрослых людей (а по многим из этих лиц текли слезы) я поняла, что на нас надвигается кошмар. Толпа, молча стоявшая у репродуктора, не шелохнулась во все время, пока говорил Молотов, и даже когда в конце передачи прозвучали слова, ставшие потом рефреном постоянных передач: «Смерть фашистским захватчикам!» — толпа не сразу разошлась. А когда стали расходиться, каждый, как и я, вероятно, почувствовал, что на плечи легла чудовищная тяжесть, и сколько ее нести? Хватит ли сил? Доживем ли до Победы? Вот характерный психологический момент. Не знаю, как другие, но я и многие вообще просто не представляли, не понимали и не допускали мысли, что война может окончиться не Победой. И при этом скорой. Приходили на память Халхин-Гол, финская кампания, т.е. 3—4 месяца, не больше, а к тому же где-то война будет «там», на границе. Но вот через полчаса зазвонил телефон — срочно вызывали в Пушкинский дом.

Было очень странно зачем-то сколачивать ящики, упаковывать экспонаты, когда было так тепло, солнечно, никаких «неприятных» звуков, в Ленинграде такое чистое небо... Но уже на другой день в этом чистом небе повисли щепелины, окна домов как-то мгновенно «закрестились» бумажными полосками. Заклеивая окна, мы священнодействовали — казалось, это самое главное — и, выполнив «заклейку»-оберег, чувствовали себя в полной безопасности. Не знали мы, что через три месяца, при первых же бомбежках наши бумажные полоски-обереги полетят вместе со стеклами. И хорошо, что не знали. До 14 сентября мы жили спокойно.

В Институте литературы, бывшей таможне, здании, построенном архитектором Лукини в 1831 году на месте сгоревшей старой деревянной таможни, мы выгребали весь мусор, обломки чего-то в прямом смысле столетней давности и засыпали весь чердак песком, привезенным на двух трамвайных платформах с Поклонной горы. Была чудесная «белая ночь». От площади Пушкина, где остановился этот трамвай, мы стояли «цепочкой» до самого здания ИРЛИ и передавали друг другу ведра с песком. До страшного еще было время. Какое оно, мы не знали, а сейчас все были охвачены одним — разгрузить платформу до

6 часов утра, чтобы не задержать движение, засыпать чердак, ящики, мешки песком. Работали все с равным напряжением — и дирекция, маститые ученые, технический персонал, и мы, молодежь, только начинающие свой путь в науке. Окончив в срок это дело, переключились на укладку экспонатов. О том, что нужно поспать, отдохнуть, — разговору не было, важно было другое — «успеть!».

Но вот 29-го поступило распоряжение: «Всем институтам выехать на оборонные работы». И, оставив несколько человек в Институте и тех, кто сопровождал ящики с экспонатами в глубь страны, мы выехали 30 июня на станцию Батецкая Новгородской области. Нам сказали, что мы едем на три дня, мы так и собирались, а пробыли там месяц. Без теплых вещей (лето было очень жаркое), кто в одном сарафанчике, кто в летнем платье. А тут, как на беду, разразилась гроза и после нее — похолодание. Промокли до костей. Сушась у костра, я прожгла дыру на сарафане. Как чинить? Чем латать? Спасибо, кто-то пожертвовал мешочек из-под продуктов. Вот так и ходила недели две. От холода спасались одеялами, завернув половину на туловище и привязав веревкой или мочалой, а другой конец накинув на голову. Особенно живописно мы выглядели, когда шли по дороге от нашего объекта работы — противотанкового рва — к палаткам, которые, как потом выяснилось, были нами устроены в прямом смысле на передовой, в двух километрах от немцев, а копать мы ходили километра полтора — два в тыл. Да и как рыть, нам показали не так. Одним словом, это был какой-то диверсионный акт. На этой трассе нас работало около двух тысяч человек, в основном женщин с предприятий Васильевского острова. Рядом с нами работала фабрика «Промпуговица» (Волховский переулок). У нас быт был организован отлично, так как среди нас оказались заведующий лабораторией фонограммархива Ю.И. Ключков и отличный администратор М.М. Калаушин. Остальные мужчины: Д.С. Балухатый, Р.А. Бялый, М.О. Скрипиль, И.П. Еремин и другие составляли «совет старейшин» и выполняли поручения первых двух. Поэтому в первую же ночь по прибытии на «место» — а это был угол между Новгородом и Лугой, шли мы туда часа четыре — мы уже спали в палатках из веток, которые мы соорудили под руководством Ключкова. Мы варили в купленном в магазине ведре суп, кашу и пр. Если бы не работа, в прямом смысле от зари и до зари, то нам просто все это нравилось, как нечто необыкновенное, нам было интересно и даже весело, пока... пока проходившие по дороге войска не заставили нас задуматься... Вскоре выяснилось, что Псков горит, что в Новгороде высадился десант, Луга тоже обстреляна и горит.

В эту ночь, только мы легли спать, вдруг начало полыхать голубоватое пламя, начался какой-то хаос — свист снарядов, разрывы, крики людей. Наши начальники закрыли собой вход в палатку: «Лежать! Не трогаться с места. Убьет, так убьет всех сразу, а выскочите — пропали!». И они были правы. Тьма после вспышек была еще гуще, мы толком даже не знали, где мы территориально. Лес и лес. Обстрел продолжался минут пятнадцать, но нам он показался вечностью. И когда грохот, крики и топот прекратились, от нервного перенапряжения мы просто провалились в сон. А утром выяснилось, что немцы били не по нашему лагерю, а через нас по военной части, которая должна была расположиться за нашим противотанковым рвом в лесу, но, как только стемнело, они тихо ушли. Жертв не было. А вот в нашем лагере, как только начался обстрел, многие повыскакивали и кинулись бежать в прямом смысле «куда глаза глядят» и убежали... прямо к немцам, которые оказались совсем рядом с нами, километрах в полуторах. От «Промпуговицы» осталась только четверть людей, несколько человек вернулись, они-то и рассказали нам про немцев. Какая-то женщина сошла с ума. Вот тут мы поняли, что мы на фронте, а фронт — везде... Стало как-то ужасно холодно внутри. Пошла полная неразбериха: где немцы? где линия обороны? где Ленинград? По дороге группами шли солдаты. Мы все же вышли на свою трассу. К нам быстрым шагом, отделившись от одной из групп, подошел пожилой подполковник. Спустился с нами в противотанковый ров, осмотрелся и присвистнул: «Ну и дела!». Но он не кончил, над нами просвистел снаряд. «Ложись!» — скомандовал подполковник. Мы бросились на землю. Ожидая еще разрыва, мы не вставали, я спросила подполковника: «А разве Вы боитесь снарядов? Вы ведь военный?». Он ответил: «Пуль и снарядов не боятся только дураки! На войне важно остаться живым и выполнить задание, а не “геройствовать” попусту!». И это я запомнила твердо. Пригодилось. Мы, естественно, спросили, почему никто нам не дает команду, что дальше делать? — Он ответил: «Уже никого нет. В Новгороде, Луге — немцы. Срочно уходите на северо-запад. Там Батецкая должна быть». И, неопределенно махнув рукой в этом направлении, он побежал догонять уходящие подразделения.

Мы все поняли. Поняли весь ужас нашего положения. Срочно собрался наш «штаб», послали по трассе собирать всех, кто был там, чтобы двигаться в указанном направлении. Оказалось, из полутора тысяч нас осталось человек 500—600. Пошли скорым шагом. Но уже начало темнеть. Дошли до какой-то деревни и решили переночевать. Пока грели воду, варили картошку, начальники «штаба» М.М. Калаушин и

Л.А. Плоткин решили выйти за деревню и наметить путь следования на завтра. Вышли за деревню. Впереди огромное поле, а по горизонту лес, охваченный заревом пожара. Мы оказались в прямом смысле в огненном кольце, и лишь на северо-западе стоял темный лес, как бы пролет в этом огненном кольце. За ним где-то был Ленинград. Мы вернулись в деревню и, решив перед дорогой отдохнуть, стали устраиваться, — кто на печи, кто на лавке, кто на полу. Но не успели и глаз сомкнуть, как за окном раздался лошадиный топот. Кто-то скакал во весь опор по деревне, кричал: «Где тут штаб ленинградцев?». Мы подскочили к окну... Всадник, заметив нас, круто осадил лошадь и буквально заорал: «Какого черта вы тут сидите! Быстро бегом уходите!.. Немцы!..» — и ускакал. Мы схватили наши пожитки и кинулись бежать вдоль деревни по направлению к «темному лесу». Но у околицы, с проселочной дороги на нас бежали солдаты, неслись телеги, всадники, орудия, и мы невольно, как овцы, сгрудились и остановились, пропуская их, но, заметив нашу растерянность, солдаты закричали нам: «В лес, в лес бегите!..». И мы побежали. Хорошо, как нам тогда показалось, что светила луна и хоть слабо, но освещала нам старую проселочную дорогу, а может быть широкую тропу через лес, не помню, смотреть по сторонам было некогда, мы буквально бежали. Впереди, указывая дорогу и чтобы не сбились остальные, бежал в белой рубашке Б.И. Бурсов. Напрягая зрение, мы старались не упустить из виду впереди бегущего. Отчаянно колотилось сердце, а в голове стучала одна только мысль: «Скорее, скорее...». Иногда над нами пролетали снаряды, но рвались где-то далеко. Где-то вдали слышен был характерный «топот» канонады... И вдруг, о ужас! Лес кончился, перед нами было огромное поле, совершенно голое место, а лес чернел за полем. Чтобы попасть в него, надо было пересечь поле, через которое продолжалась все та же старая проселочная дорога, по которой мы бежали. Но на открытом месте выяснилось, что на небе светит огромная луна и освещает дорогу так, что хоть иголки собирай. А вот слева... слева горела деревня, слышна была немецкая речь, плачь женщин, вой собак, стрельба.

От ужаса мы окаменели. Было похоже, что все с нами кончено. И тогда М.М. Калаушин дал команду: «Ложись! По канаве (она шла рядом с дорогой) ползком через поле! Тихо!» Повторять было не нужно. Все залегли и поползли так тихо, что ни один звук не нарушил стоявшей над нами тишины. Иногда раздавалась приглушенная команда «Стой!», и вся цепочка замирала... Так мы перебрались через поле и, войдя в лес, опять побежали. На каком-то перегоне нам навстречу выскочили бойцы, отступавшие от деревни Лаврово. «Куда бежите-то,

немцы там! Бегите левее на Батецкую!». И мы взяли левее. В ту ночь, как потом мы высчитали, мы пробежали 36 километров. Когда вышли на Батецкую, ее как станции и поселка уже не было, — одни головни, груды кирпича, перекореженные цистерны. Мы прошли в сторону Ленинграда еще с полкилометра и остановились в кустарнике. М.М. Калаушин и Л.А. Плоткин пошли искать полевую рацию в военных частях, чтобы связаться с Ленинградом. Было 5 часов. Я завернулась в одеяло и решила немного вздремнуть — «Вставай, поезд!» — Оказывается, я проспала 4 часа. Было уже 9 утра. Нам действительно подали прямо в лес 4 вагона с паровозом. Мы быстро погрузились и буквально на всех парах покатали в Ленинград. Трудно было поверить, что мы живы, что едем домой, что кошмар пережитой ночи позади. После нас по этой дороге уже не прошел ни один наш состав. Это было 27 августа 1941 года.

Ленинград в конце августа внешне жил еще мирной жизнью, если не считать цепелинов, густо усеявших небо, и наклеек на оконных стеклах. Работали магазины, правда продуктов было немного. Но зато появились какие-то диковинки замшелых бутылок с вином чуть ли не столетней давности. И стояли они каких-то баснословных денег. Зато открылись коммерческие магазины. Хотя мы все еще ходили в Институт, но его уже практически не существовало. Институт был «законсервирован», и все сотрудники, за исключением небольшой группы, были «сокращены по условиям военного времени». Получив расчет, я буквально по какому-то звериному инстинкту самосохранения стала покупать коммерческий хлеб и сушить сухари. Мой папа, человек хозяйственный, рассудительный (он был директором 384-й школы, депутатом Кировского райсовета, награжденным орденом Ленина и Трудового Красного Знамени), буквально издевался надо мной, говоря: «Нет, вы посмотрите на нее! — Сушит сухари! Да что ты в этом понимаешь! Это тебе не 19-й год. У нас продовольствия хватит на несколько лет!».

А я сушила и сушила на керосинке. И засушила две наволочки. Да еще мы, несколько человек, поехали в Шувалово и купили каждый по 3 ведра картошки. Потом я услышала, что в Новой Деревне много валяется листьев от капусты. Поехала. Привезла полный рюкзак этого первого листа. Нарубила «хряпы» и засолила полный бочоночек, в котором мы обычно солили грибы. Мама, которая только-только начала вставать и ходить после тяжелого инсульта, только удивлялась: откуда у меня вдруг прорезалась такая хозяйственность. А мне как-то казалось, что так делать нужно, а почему — объяснить не могла. Потом уже, вспоминая это время, я пыталась осмыслить свои действия. По

отношению к массовому поведению — это была какая-то аномалия. Даже на усеянном капустным листом поле было всего 4—5 человек.

Киноафиши предлагали посмотреть «Большой вальс». Приехал неожиданно мой школьный друг. Его отпустили из-под Ленинграда из части для исполнения задания, разрешив после этого свободное время до 21 часа. «Большой вальс» вполне уместался в это время. Это было счастье. Музыка Штрауса, дивная, упоительная — это мир! Мирные пейзажи, мирная яркая любовь, красивые лица — войны будто и не было... Увы, была! Только карета въехала в лес, раздался вой сирены... экран погас... Мы спустились с неба на землю и пошли со всеми в бомбоубежище. После отбоя досматривать не стали. Действительность слишком не вязалась с тем, что было на экране.

В первые дни сентября в город стали входить наши войска. Лица мрачные, обросшие, у кого винтовка, у кого нет, глаза устремлены на дорогу. Ощущение такое, что будто им как-то стыдно, неловко смотреть нам в глаза, нам, оставшимся внутри кольца и так верившим в своих защитников-бойцов. Они не видели, что у многих из нас при виде их на глазах стояли слезы: «Милые, родные, да разве вы виноваты!».

14 сентября, 16 часов, солнечный осенний день. Я пошла в столовую «Верный путь», что на Кировском проспекте (прямо напротив Пушкинской улицы, где мы жили). Взяв обед для папы, мамы и себя, я уже собралась уходить — тревога. Залаяли зенитки. Спустились в бомбоубежище. Тревога продолжалась долго. Наконец-то долгожданный отбой. Выхожу, при переходе Кировского смотрю сперва налево и замираю. За Кировским мостом вместо голубого неба поднималась черная стена. По ее нижнему краю время от времени вырывались огненные языки. Что горит? Что бомбили? Люди собирались кучками, строили догадки, не отрывая глаз от черной стены, которая, казалось, шла на нас. Шла черным горем — горели Бадаевские склады, сторала наша надежда «выжить»! Что было дальше — известно. Пайки продуктов резко стали сокращаться. Пока норма хлеба не дошла до 150 грамм. Стали, выходя за хлебом, спрашивать друг у друга: «А где хлеб посуше?» — и бежали (еще бежали) туда. Стало ясно, что мои сухари пригодятся. И очень. Папа помрачнел. Его школа оказалась за линией фронта и он был направлен директором в школу у Нарвских ворот, директор которой ушел на фронт. Когда перестали ходить трамваи, в школу ходил пешком. Через день, по очереди с завучем.

Так начались черные дни блокады. В Институт ходить было и трудно, и незачем. Разве когда проведать. В секторе фольклора стояла пе-

чурка, у стен — кровати, стол. Там жили член-корреспондент В.П. Андрианова-Перетц и доктор филологических наук А.М. Астахова. Они много работали, несмотря на тяжелый быт, и из своих меховых и теплых старых вещей шили варежки для бойцов. Я поступила вольнонаемной сестрой в эвакогоспиталь № 99. Сутки дежурила, потом стояла в очереди за продуктами. Научилась спать стоя, привалившись к стене. Перестали давать свет. Это сделало холод и голод еще ощутимее. В надежде, что вдруг его дадут, хоть на час, не выключали. Иногда и давали. Жили с коптилками. Солярка и еще какая-то смесь керосина с чем-то издавали противный кисловатый запах. Вот такой запах и синий свет (а он был в трамваях, магазинах, учреждениях, когда все казались утопленниками помимо того, что были дистрофиками) я не переношу до сих пор. В сердце сразу поселяется леденящая тоска.

Дни становились все темнее и темнее, все холоднее делался воздух. До середины ноября я еще старалась пойти то в Институт, то в филармонию. Сидели в пальто. Когда начинались обстрелы, люстры издавали легкий звон, похожий на стон. В театре Музкомедии на артистов было трудно смотреть. Но становилось уже не до «отвлечений». Нужно было где-то раздобыть хворост, ломать кусты. А как? Днем — увидят, заберут. Ночью — людоеды. И это не сказки.

Вспоминается одна ночь. Спустя 46 лет охватывает холод ужаса. Была морозная февральская ночь. Темный город освещала огромная луна. Сильно мело. Я, уже после 11 часов, отправилась, как обычно, в очередь, которая выстраивалась около магазина № 8 — угол Плутовой и Большого проспекта Петроградской стороны. Мы же жили на углу Бармалеевой и Большой Пушкарской. Чтобы попасть в магазин, нужно было пройти отрезок в 3 дома по Бармалеевой улице и пересечь Большой проспект. И вот я вышла закутанная для стояния на всю ночь. На мое пальто была надета папина шуба, два платка, на ногах туфли вдеты, опять же, в папины валенки. Стоять в таком виде могла твердо, а вот быстро идти, тем более бежать, не могла. Под всей этой экипировкой на груди у меня в специальном мешочке лежали карточки 5 человек — мамыны, папины, мои, тети и дяди, которые жили с нами в одной квартире, т.е. на мне висела жизнь пяти человек.

Я вышла на темную лестницу и стала спускаться медленно вниз. На втором этаже что-то преградило мне путь, что-то лежало на ступеньках. Наклонилась — труп. Страх не было. С трудом перешагнула и вышла на улицу. После темной лестницы на улице было светло, как днем, и я пошла вправо к Большому проспекту. И тут, буквально через

несколько шагов я заметила, что из-за водосточной трубы отделилась фигура и со стоном, как стонали только дистрофики, вытянув руки с костлявыми пальцами, он направился ко мне. Глаза его фосфоресцировали, как у волка... И опять эта защитная функция организма — никакого страха. Голова работала четко: сколько шагов осталось? — секунда. Есть ли у него нож? Схватка неизбежна — хватит ли у меня силы задушить его? Ведь иначе со мной погибнет 5 человек. Я невольно в последний раз посмотрела на небо. И о чудо! Из-за угла, по Бармалеевой, быстрым шагом шел офицер. Я кинулась к нему. «Товарищ офицер, пожалуйста, проводите меня через Большой проспект к магазину. Это дистрофик-людоед!». Офицер оценил обстановку сразу. Прикрикнув на дистрофика, он, взяв меня под руку, помог перейти улицу. Этому неизвестному человеку мы обязаны жизнью. А дистрофик, скуля, опять куда-то запрятался, поджидая очередную жертву.

Были страшные дни 29—31 января 1942 года, когда вредительски был перекрыт водопровод, и пекарня выпекала хлеб только на той воде, которую привозили с Невы. Мне повезло. Как всегда стояли с ночи. К утру стали подходить какие-то типы и толпиться около начала очереди. Очередь заволновалась. Решено было создать «цепь» из тех, кто помоложе. В это охранение вытолкнули и меня. Мы — несколько женщин взяли под руки и, оттеснив типов, твердо заняли свои позиции, чтобы они не проникли в дверь булочной. Очередь успокоилась. Но вот щелкнул замок, дверь открылась, «типы» ринулись в дверь, смяв нашу цепь и буквально втолкнув нас в магазин. Оказавшись у прилавка, я отоварила все карточки на 3 дня. Магазин оказался весь набит толстомордыми мужиками-спекулянтами, а несчастная очередь так и осталась ни с чем.

Жизнь приобрела свой ритм: очередь, приготовление еды, священнодействия поедания — одни сутки. Вторые — госпиталь. И как только в стороне Пулковских высот начиналась канонада — опять тот же вопрос раненых: «Сестрица, что же там? Неужели опять наши не провались?» — А раненых везли и везли. Но вот выглянуло, пригрело солнышко и (увы!) осветило весь неприглядный, мягко выражаясь, вид нашего любимого города. Начались расчистка, уборка, вывозка и очистка, и к середине апреля город уже готов был встречать Весну. Постепенно прибавлялся хлебный паек. По карточкам получали тушенку — как это было вкусно, да еще с кашей! Начали оживать учреждения. Но страх пережитой зимы не оставлял. Люди не улыбались, глаза как бы окаменели. Самое страшное это было видеть на детях. Невольно думалось: «А доживут ли они, доживем ли мы до того времени, когда за-

хочется смеяться, хохотать, веселиться?». Дожили. Но до этого момента вспоминается еще одно, незабываемое...

Приближалось 10 февраля 1945 года — 107 лет со дня смерти Пушкина. Я уже опять работала в Институте литературы в должности пожарника. Дирекция решила в этот день провести гражданскую панихиду на квартире Пушкина (Мойка, 12). Для подготовки хотя бы кабинета на квартиру были посланы пушкинистка Е.В. Фрейдель и я. Мороз стоял лютый. Скрипел под ногами снег. Красно-оранжевое солнце, зависнув за мостом Лейтенанта Шмидта, как-то холодно взидало на застывший город. Мы шли от Стрелки наискосок через Неву, чтобы сократить путь, и когда пришли к дому — ахнули. Все окна плотно заколочены досками (недалеко упала бомба). Двери — тоже. Еле-еле отодрали доски и открыли примерзшую дверь. Внутри по комнатам пробирались со свечкой. За четыре года все покрылось толстым слоем пыли, штукатурки, валялась ломаная и неломаная мебель.

Прежде всего расчистили кабинет и прихожую, куда должна была прийти капелла, вернее то, что от нее осталось. Но как мыть? Температура явно минусовая. Пошли к соседям. Нагрели ведро воды и решили вдвоем мыть чтобы быстрее... Не тут-то было — тряпка примерзла к полу. Тогда мы еще раз предельно нагрели воду и одна проводила тряпкой мокрой, а другая — сухой. Так мы вымыли кабинет, поставили постамент около дивана, на него — бюст Пушкина. На другой день с утра монтер должен был провести в кабинет электрическую лампочку.

Настало 10 февраля. Как и до войны в 14 часов началась гражданская панихида. 60-вольтовая лампочка с потолка освещала тех, кто пришел почтить память поэта. Их было немного. Почти все поместились в кабинете. Проникновенное слово произнес Л.А. Плоткин, выступил В.А. Мануйлов. Заслуженная артистка Тимэ (или Мичурина-Самойлова?), сказав о значении Пушкина для театра актера, как учит Пушкин русскому языку и тем самым живет и остается жить с народом, опустилась на колено, чтобы возложить лавровый венок к подножию постамента... Хор капеллы запел «Грезы» Шумана. Тут фотокорреспондент подключился к единственному «живому проводу», произошла перегрузка, и свет погас. Мы стояли в могильной темноте, звучала дивная музыка Шумана, и никто не только не вышел или шевельнулся, но, казалось, люди перестали дышать, пока хор не перестал петь. Когда монтер устранил замыкание и свет зажегся, — не было ни одного лица, не залитого слезами. Но никто их не стыдился. Боюсь, что это были наши первые слезы за годы войны. Пушкин как бы вдохнул,

вернул нашим сердцам и душам жизнь, наши жизни стали человеческими.

И еще. 9 мая 1945 года. Вероятно, уже накануне было известно об объявлении мира, и нам было дано распоряжение запастись... кто чем мог, — веточками березок с молодой листвой, подснежниками, лентами, бумажными цветами. Казалось, что все это правда и все же не верилось, было страшно, а вдруг?! (Вот тут было страшно — мы уже опять были людьми.) После объявления по радио из всех репродукторов полились звуки маршей, все что было в музыкальном арсенале торжественного, яркого, бравурного. К 12 часам нам было сказано выйти на Съездовскую линию Васильевского острова и встать на панели. Часа в два появились первые подразделения из-под Пулковских высот. Вот это была радость! Усталые, запыленные, они входили в город победителями. Они, как гирлянды роз, принимали наши жалкие букетики, мы обнимались, что-то кричали. Кто смеялся, кто плакал и смеялся сквозь слезы. На всю жизнь остались передо мной лучистые глаза солдата, которому я передала свой букетик подснежников. В них было солнце Победы, радость жизни! Они как бы кричали: «Я жив! Мы выстояли! Мы победили!».

ВОЕВАТЬ МНЕ НЕ ДОВЕЛОСЬ



Ростислав Васильевич Кинжалов, заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, талантливый ученый и писатель, главный научный сотрудник Отдела этнографии Америки МАЭ. В годы войны работал политпросветработником в прифронтовом госпитале.

В июне 1941 года я закончил среднюю школу в г. Воронеже с аттестатом отличника и был принят без экзаменов на I курс филологического факультета ЛГУ. 21 июня, в субботу, у нас состоялся выпускной вечер, но был я на нем недолго и рано ушел, так как в последней декаде месяца должен был состояться Всесоюзный комсомольский кросс, а я как секретарь бюро ВЛКСМ школы отвечал за его подготовку. В понедельник мне надо было присутствовать на утреннем совещании в горкоме комсомола. Хотелось основательно выспаться после экзаменов.

Встал я в воскресенье часов около одиннадцати, но скоро пришел двоюродный брат и сказал, чтобы мы включили радио: ожидается выступление В.М. Молотова. О войне никто из окружающих меня не думал, выпускники мечтали о вузах, школьники и учителя — о каникулах. Недавнее сообщение ТАСС успокоило тех, кто смотрел на складывающуюся военную обстановку в Европе глубже. Большинство же моих сверстников, да и люди старше нас

свято верили, что, если и разразится какой-либо военный конфликт, он закончится быстро и победно. Думаю, тут действовали и сообщения о недавних победах наших войск у озера Хасан и на Халхин-Голе и особенно книга Н. Шпанова «Первый удар» и кинокартина, созданная по ней. Они пользовались тогда особой популярностью. И хотя фильм вышел на экраны уже после заключения пакта о ненападении с Германией, в противнике легко угадывались фашистские войска. По нему, как только враги слегка потеснили наших пограничников, советская

бомбардировочная авиация наносила сокрушительный удар. А там рабочий класс восставал против фашистского режима и брал власть в свои руки. Поэтому в первые дни после нападения все мы (во всяком случае, молодежь) свято верили, что так и будет. Сказывалась и вера в могущество Красной Армии и надежда (скорее — уверенность) в сознательности трудящихся масс Германии, в то, что они не захотят воевать против первой страны социализма. Действовали и появлявшиеся в первое время в газетах фотографии, где наши бойцы вели сдавшихся в плен немецких солдат. Я пишу так, стараясь как можно правдивее передать чувства, владевшие тогда нами. Горькое осознание действительности пришло к моим соклассникам позже, когда нас послали под Смоленск рыть окопы. Меня лично в первые дни несколько настораживало лишь то, что военные сводки очень скупы, по радио часами звучат марши, а сообщения о нашем ответном ударе все нет и нет...

В понедельник, после совещания в горкоме и выступления на школьном митинге, комсомольцы начали подготавливать некоторые школы под госпитали. Это распоряжение нас не удивило, потому что во время финской войны мы это уже делали (тогда было много обмороженных бойцов).

По-настоящему мы начали осознавать масштабы (но не продолжительность!) начавшейся войны лишь после известного выступления Сталина 3 июля по радио. Особо подействовало на всех нас даже не то, что он сказал, а непривычное обращение: «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!». Эти неожиданные начальные слова и паузы, когда он наливал воду и было слышно, как дрожит его рука, звякая горлышком графина о стакан, было страшно слушать!

Дальше последовали ночные дежурства в горкоме ВЛКСМ (первым секретарем была избрана А. Мжачих, а ее предшественник и боковая часть штатных работников ушли в армию, поэтому привлекались активисты), поездка под Смоленск старшекласников специальным эшелоном для подготовки оборонительных сооружений. Пробывали мы там недолго, в основном рыли противотанковые рвы, немцы нас бомбили и обстреливали из пулеметов. К счастью, обошлось без жертв. Провожали нас торжественно, с митингом и духовым оркестром, возвратились мы скромно. Кто-то из ведущих военачальников, объезжая рубежи обороны, узнал, откуда наша группа, и приказал отправляться немедленно обратно. Это оказалось правильным решением.

В начале августа мне стало ясно, что об учебе в университете думать нечего, надо идти в армию. Дело осложнялось тем, что я был белобилетником и не подлежал призыву. Помог горком ВЛКСМ: меня

направили политпросветработником в госпиталь 2676 (сперва он был в составе Брянского, а потом Воронежского фронтов). Работал санитаром. Там комсомольцы избрали меня секретарем. Протоколами и заседаниями мы не злоупотребляли. Главное было — вовремя принять раненых бойцов, обработать и отправить их в тыл. Срочные операции проводились на месте, иногда не хватало наркоза, вместо него давали спирт.

Весной 1942 года положение на нашем участке серьезно осложнилось. Были частые бомбежки, раненые рассказывали о ситуации на Северском Донце. Но по мере того, как немцы продвигались к Сталинграду, напряжение около Воронежа спадало и в середине августа стабилизировалось.

В сентябре 1942 года я был демобилизован из армии по состоянию здоровья. В это время меня разыскал Ленинградский университет, эвакуированный в Саратов, и прислал вызов. Можно было продолжать учебу. На этом кончилась моя военная биография, если не считать оборонительных работ в Саратове, где мы, студенты, рыли окопы...